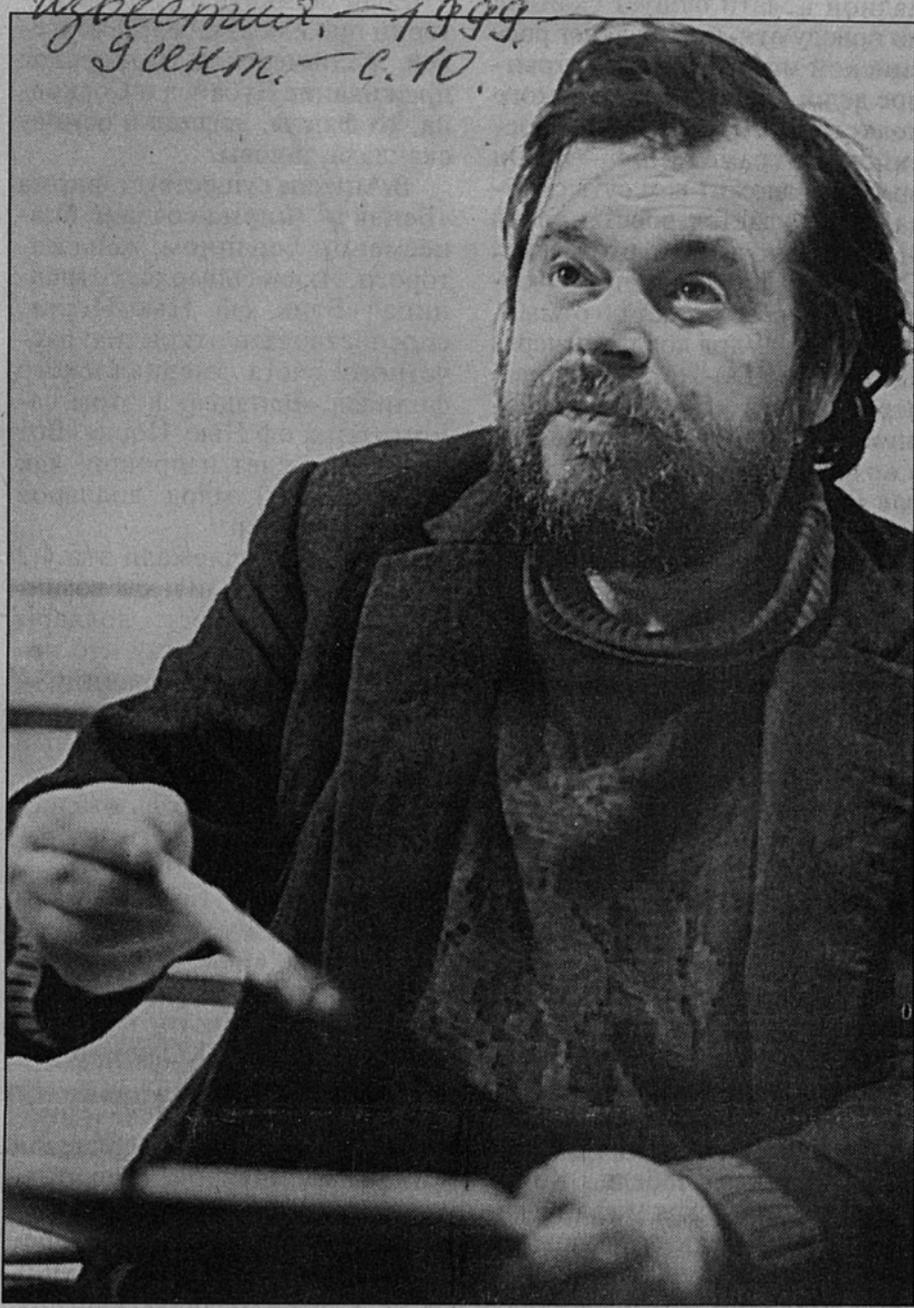


# Запойно свободный художник

В Третьяковской галерее открылась  
первая персональная выставка  
Анатолия Зверева



ИГОРЬ ПАЛЬМИН

Лучшей выставкой Зверева могла бы стать выставка его фотографий. Собственная судьба — главное произведение художника

**Ольга КАБАНОВА**

Третьяковка вынуждена не только исправлять свои прошлые ошибки, но и расплачиваться за них. Национальная художественная галерея обязана полно представлять историю национальной живописи. Во времена оны, лет тридцать назад, никто в музее коллекцию русских послевоенных модернистов собирать и не мыслил, никакие нонконформисты в фонды попасть не могли — только на Малую Грузинскую в поднадзорный компетентным органам горком графиков. А до 70-х и вовсе не находилось им места в выставочных залах.

Но собрание русского искусства советского периода никак не может считаться полным без художников андерграунда, с советским официозом находившихся в прямой конфронтации. А хранится «другое искусство» теперь в частных собраниях тех дальневидных коллекционеров — наших, бывших наших и иностранных — кто собирал нонконформистов при их жизни или в те времена, когда цены на их работы были ничтожны.

Но если западные музеи, имеющие немного советского «другого искусства» и не слишком приобретенным гордящиеся, могут не особенно интересоваться русскими примерами экспрессионизма, ташизма, абстракции, психоделики и поп-арта, то Третьяковка обязана ради исторической правды иметь, собирать и выставлять эти образцы отечественного освоения мирового искусства XX века. Особенно в отсутствии полноценного музея современного искусства. Кроме того, в традиции музея, да и вообще в русской традиции, не отделять искусство от гражданской позиции и судьбы его создателей.

В случае художника Алексея Зверева, родившегося в Москве в 1931 году и умершего в том же городе через 55 лет, жизнь важнее работ. Судьба его столь литературно эффектна, что в ранние перестроечные годы о нем писали много и взахлеб. Как был природно одарен и артистичен, как умел легко и быстро всем, что попал под руку, (карандаш — так карандашом, пером — так пером), писать, искрометные рисунки, которые тут же дарил за кров и выпивку. Во всех смыслах запойный художник (до смерти работает, до полусмерти пьет — от Зверева остались десятки тысяч работ), нигде особенно не учившийся, властями не признанный, но замеченный Сикейросом во время московского фестиваля 1957 года, бескорыстный гений, отчаянная богема — образ притягательный для всякого буржуа, что советского, что постсоветского. Отличный герой для sentimentalного очерка.

Если не знать о забубенной зверевской жизни, не держать в памяти исторического контекста, то выставку в Третьяковке смотреть довольно скучно. Собранная вместе с частной галереей «Кино» (раз в музее своей полноценной коллекции нет, приходится пользоваться чужими услугами) экспозиция из 250 работ насчитывает только десятков-другой действительно отличных. Написаны очень хорошо в основном. Написаны они были в пейзажном на дачах зверевских благодетелей и решительно опровергают расхожее представление, что алкоголь ху-

дожнику — друг и стимул. Написанные твердой рукой, трезво и сконцентрированно, они куда тоньше знаменитых жеманных портретов лупоглазых красавиц со сложенными бантиком губками. Сделаны портреты и в правду легко и артистично, но совершенно безответственно.

Когда смотришь на этих розово-голубых красоток (все на одно миловидное лицо), то в голову крамольно лезут красавицы с графики Глазунова. В сравнении нет ничего странного. Художники — ровесники, начали одновременно, оба стали в оппозицию ходульному советскому академизму. Но между художником исключительно благополучным и исключительно неблагоприятным есть принципиальная разница. Первый всегда писал убежденно торжественно, с чувством собственной значительности, официальной идеологии противопоставлял свою, не менее мертворожденную. Все зверевские работы вызывающе небрежны. Видимо, он был умен и трезво относился к тому, что делал. В лучших его рисунках легко ловится переключка с большими мастерами: Матиссом, Пикассо, с автопортретами Рембрандта. Он знал и любил живопись, а значит, и хорошо понимал себе цену.

— Чем отличается художник от нехудожника?

— Рисовать может каждый, даже собака и обезьяна, даже червяк может рисовать. А человек делает вещи созвучные времени и настроению.

— Когда были созданы самые лучшие Ваши работы?

— Это ташизм, который начался с 57-го года. В нем самая большая отдача, доходящая до экстаза. Но уже в 59-м я бросил рисовать для себя. Я должен был обязательно угодить и понравиться. Неприятное я рисовал до 59-го. Сейчас же только приятное».

Это фрагмент интервью, взятого у Зверева Андреем Ерофеевым в 1982 году. Мало кто из художников способен судить себя столь здраво и честно. В позе великого он не стоял никогда. Выбрал себе другую роль, которая никогда не предполагает приятного sentimentalного принала. Счастливец, прайд, не продающий дара, клошар, занесенный в суровую, казенную Москву с Монмартрского холма. Отчасти он был таким по природе своей, отчасти потому, что таким именно его и хотели видеть окружающие.

«Я никогда не жил. Я существовал. Жил я только среди тех, у кого и для кого я писал, кто слал обо мне мифы», — еще одно признание. Время ранней оттепели требовало романтического мифа, герой которого вечно молод, то есть не остепенился, не закалился, не получал при жизни почестей, не предал и не продал дара, данного божественным случаем. Он остался героем мифов, воспоминаний, житейских анекдотов. Зверев, как истинный модернист, делал из своей жизни факт искусства.

Выставка в Третьяковке может понравиться многим, особенно склонным к sentimentalности, зрителям. И даже в снисходительности, с которой говорят и пишут о Звереве шепетильные критики и искусствоведа, есть много симпатий. Прожечь жизнь, пропить талант, не копить сокровищ на земле — как это по-русски, как понятно.